

Предисловие

Жили в Москве мальчик и девочка — Денис и Маша. Родители водили их друг к другу на дни рождения, на елку и просто так — в гости. Правда, место, куда елку ставить, появилось у родителей не сразу, поэтому сначала собирались то в подвальной квартирке у одних, то в коммуналке у других. Но где — было неважно! В любом случае для Дениса и Маши это были самые замечательные дни рождения и елки. На этих праздниках царили их папы-писатели, веселые изобретатели разнообразного детского счастья. Папа Дениса — детский писатель Виктор Драгунский — и папа Маши, то есть мой папа, — взрослый писатель Илья Зверев. И вот однажды папа Дениса сказал моему папе: «А почему ты не пишешь рассказы для детей? Попробуй!» И мой папа попробовал.

Я немного завидую тем, кто будет читать эти рассказы первый раз: они веселые, остроумные, точные... Они о сложном подростковом возрасте, когда каждому впервые приходится по-взрослому примерять на себя главные человеческие качества и определять свою личность не словами,

а поступками. Пять рассказов — пять важнейших ситуаций выбора. Правда и ложь, свобода и ответственность, первые предательства, первая любовь... Ничего из этого не устарело, каждому новому поколению приходится заново отвечать на эти вопросы, стоять перед выбором пути. Рассказы из этого сборника легко и с юмором показывают, куда какой путь ведет.

Конечно, что-то в этих рассказах современным мальчикам и девочкам может быть непонятно. Например, почему надо нести магнитофон в школу, что это вообще такое и почему это что-то такое тяжелое? Или зачем человеку надо быть председателем пионерской дружины? Но все это не так важно, и об этом вам с удовольствием расскажут ваши бабушки, дедушки или родители. Главное не изменилось! Все те же вопросы приходится решать и впервые влюбившись, и выбирая, сказать правду или солгать, и, добившись свободы, что-то с этой свободой делать.

Первое издание рассказов вышло с иллюстрациями замечательного художника и скульптора Вадима Сидура. Сейчас творчеству Сидура посвящаются монографии, в Москве есть его музей, но и тогда, в 1960-е, он был очень важной фигурой нового времени. Они с папой дружили, и этот сборник детских рассказов был их общим шагом в наступивший теплый мир. Книга, которую вы держите в руках, впервые после советской эпохи возвращает эти иллюстрации Вадима Сидура читателю.

...Рассказы сразу понравились читателям, книгу заметили, обсуждали. По рассказу «Второе апреля» на киностудии «Ленфильм» режиссер Игорь Масленников (впоследствии автор замечательного фильма о Шерлоке Холмсе) снял фильм «Завтра, третьего апреля». В детском музыкальном театре поставили даже оперу «Второе апреля». Тогда же и я познала все радости и горести славы — мои одноклассники пытались угадать в героях себя, и не всегда им это нравилось. Еще хуже, если в героях себя узнавали учителя. Короче, это был успех со всеми вытекающими из него последствиями.

Но все это было потом. А сначала, в середине прошлого века, двадцатилетний журналист Илья Зверев приехал покорять Москву с тоненькой книжечкой очерков, опубликованных провинциальным издательством. Первое время спал в редакции «Огонька» на столе, ночевал на Центральном телеграфе. Брался за любые командировки, ездил по стране. Журналистика тех лет не давала шанса на самовыражение, но люди, которых он встречал, реальные события, свидетелем которых становился, оставались с ним в его писательской памяти. А потом времена счастливо изменились. У журналистики прорезался голос. И Илья Зверев заговорил — его публицистика была голосом оттепели, он писал о вещах, запрещенных еще вчера, писал ярко, афористично. Статьи задевали важнейшие болевые точки времени, в ответ на публикации в редакции приходили мешки писем. Корней

Чуковский в предисловии к его книге отмечал страстность и искренность молодого писателя. Зверева печатали все главные издания — «Юность», «Литературная газета», «Комсомолка», потом переиздавали отдельными книжками. Он выступал по радио, по телевизору, был постоянным членом жюри сверхпопулярного КВН.

Но журналистики ему уже не хватало, и началось время прозы. Он сам писал о своей работе: «Я старался брать банальные сюжеты, в надежде содрать с них холодную окостеневшую оболочку и показать, что там, в сердцевине — тепло... мне хотелось научиться сплавлять юмор и видимую легкость с жесткостью, точностью и серьезностью настоящей прозы». В лучших рассказах это вполне удавалось — они написаны ясной прозой, при легкости строки, смыслы в них заложены серьезные и наиважнейшие.

Он еще был молодым писателем по литературным меркам, тридцать пять — тридцать шесть лет, когда у него появилась другая проза — мощнее, жестче, драматичнее... «Она и он» — впервые большая форма: повесть, а не рассказ. Точные человеческие характеры, время, судьбы. И лучшее из того, что он успел написать: «Защитник Седов». Небольшая по объему новелла, с неожиданным, как положено этому жанру, финалом. Финалом, который поднимает всю историю на другую высоту, ставит «Защитника Седова» в ряд сильнейших рассказов о времени. Эта последняя проза обещала

другой уровень мастерства, говорила о начале нового этапа писательской жизни. Но этому не суждено было сбыться.

В тридцать лет врачи сказали папе: злокачественная гипертония, вылечить невозможно, осталось жить год-два... Помню, мне пять лет, мама стоит передо мной в коридоре нашей тогдашней коммунальной квартиры и говорит очень серьезно: «Запомни, пожалуйста, ты больше не должна кататься у папы на плечах. Он будет предлагать, а ты не соглашайся! Ему теперь нельзя тебя поднимать!» Как это не соглашаться? Как это лишиться счастья смотреть вниз с этого самого высокого и безопасного места в мире? «Никогда будет нельзя?» — «Никогда».

Он обманул судьбу и прожил дольше, до тридцати девяти лет. Всего до тридцати девяти... Но как прожил! Ни от чего не отказался, ни в чем не замедлился. Все знали о диагнозе, но поверить в него было невозможно! Может, это особенность гипертоников? Всегда веселый, готовый к любым встречам, открытый, жизнерадостный... И проза у него была по большей части не драматическая — такая же полная жизни, как он сам. Какая смерть? Какая болезнь? Он срывался из дома, из-за своего письменного стола, по любому поводу — ему все было интересно. Люди, новые места, жизнь... Несмотря на трагическое положение, никакого «Как закалялась сталь» дома не наблюдалось. Ничего драматичного, никаких «тише-тише, папа болеет»,

«тише-тише, папа работает». Вообще не понятно, когда он работал: посидит, попишет, тут зазвонит телефон — и он уже срывается с кем-то встречаться. Потом вернется, что-то повычеркивает, снова попишет. А тут уже гости...

Люди были, пожалуй, главным азартом его жизни. Он с одинаковым интересом «зависал» поговорить о жизни и с дворничихой во дворе, и с ташкентским аспирантом-филологом, спросившим дорогу до метро. Включался, помогал, звонил кому-то по телефону, устраивал в больницы — тратил на всех этих встречных людей драгоценное, так коротко отпущенное ему судьбой писательское время. Поход с ним в редакции (он иногда брал меня с собой) всегда превращался в праздник. Редакторы и редакторши радостно сбегались в комнату. И хохот стоял! Папа был человек остроумный. В доме не закрывались двери: гости, коллеги, друзья. И какие друзья! Шестидесятники — звезды оттепели. Он мог разбудить меня ночью: «Окуджава пришел с гитарой, просыпайся!» И я стояла сонная, в пижаме, под дверью родительской комнаты — слушала, как поет Булат. Потом, лет, наверное, с тринадцати, мне разрешили сидеть с гостями и слушать взрослые разговоры. (Только иногда на пять минут выгоняли в коридор, если в истории было что-то непригодное для моих ушей.) Какие это были удивительные разговоры... Как это было умно, и серьезно, и остроумно разом. Не анекдоты, а всегда сиюминутная импровизация, от которой

валились со смеху, не пересказ новостей, а блестящий анализ происходящего, и если споры, то с таким объемом эрудиции с каждой стороны... Короче, «Жаль, что вас не было с нами», — как назвал один из своих рассказов Василий Аксенов. Впрочем, за столом сидели вовсе не одни коллеги: среди ближайших друзей были и физик, и скульптор, и врач. Впоследствии — лауреат Нобелевской премии по физике, скульптор с мировой известностью, гениальный хирург... Ничего этого они про себя еще не знали тогда, но качество этих вечерних споров служило залогом их выдающегося будущего.

Оттепель еще на заморозилась, и папин писательский голос креп от рассказа к рассказу. Книги издавались и переиздавались. Диагноз и обреченность были как-то сами по себе, как и неизбежные лежания в больницах и походы к врачам. Сосредотачиваться на этом папе было неинтересно, поэтому в остальном жизнь шла увлекательная и вполне счастливая. Видимо, он решил обмануть болезнь, и, казалось, это у него получалось.

Сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что не просто так он брал меня с собой в редакции, не просто так он, уже известный писатель, таскался из месяца в месяц во Дворец пионеров на Ленинских горах, чтобы выступать в литературном кружке, куда я ходила. Он знал, что скоро оставит меня, не успеет «дорастить», и старался проводить со мной больше времени, говорить о серьезных,

не по возрасту, вещах. Эти разговоры «на вырост» навсегда со мной. Многое из того, о чем он говорил мне тогда, я поняла позже, он и говорил мне это как бы впрок, на будущее. Когда я останусь без него... Я-то, слушая его веселый хохот из кабинета (заглядываешь, а он «Бравого солдата Швейка» в десятый раз читает), не думала об этом. А он — думал. Он был необыкновенный папа — я все его антипедагогические подвиги вспоминаю с восхищением. Например, когда он увидел, как я читаю «Братьев Карамазовых» (а я читала, как все мое поколение, — забыв обо всем и не понимая, где я нахожусь), он сказал: «Пусть она прогуляет школу, черт с ней, с физикой. Пусть прочтет подряд и целиком — ей это важнее». И, несмотря на сопротивление мамы, написал мне какую-то липовую справку про ангину. Спасибо! Родители, учитеесь! Моя жизнь прошла, физику я все равно не выучила, а то, что я прочла Достоевского целиком, для меня точно оказалось важнее.

Именно в ту пору папа написал свой первый детский рассказ. Поскольку он все-таки был взрослый писатель, то героями его рассказов стали не дети, а скорее «уже не дети». Те двенадцати-, тринадцати-, четырнадцатилетние подростки, которые впервые пробуют и примеряют на себя взрослые проблемы. Которые впервые на собственном опыте узнают цену правде, дружбе, предательству. А может быть, дело было не в этом, а в том, что мне и моим друзьям в этот момент было

уже не по восемь лет, а как раз по тринадцать-четырнадцать. И как двери в наш гостеприимный дом не закрывались для родительских гостей, так же они были открыты и для моих одноклассников, друзей, друзей друзей. Так что живого материала для Зверева-писателя было хоть отбавляй.

В конце одного из рассказов автор благодарит разных мальчиков и девочек, помогавших ему в создании произведения. Конечно, ничего прямо такого, что в рассказах происходит, в жизни не было — на то он и писатель, чтобы сочинять, добавлять, перепридумывать. Но что-то же было, что подтолкнуло писательское воображение. И мальчики, и девочки эти были. Например, Марк Каплан — действительный автор стихотворения из рассказа «Второе апреля» («Красный огонь, красные флаги, красной лентой обвит пулеметчик...»), он стал художником, и очень хорошим, не зря так много цвета в его стихах. А Марик Шейнберг, которому посвящен рассказ «Задача», стал-таки математиком. Ну а я, упомянутая там из деликатности как Марина Кожина (под маминой, а не папиной фамилией и с официальным именем Марина), чтоб я не зазналась, что вдохновила его на образ Машки (не путать с Машенькой), я по-прежнему ставлю чайник на полный газ, так что с него от пара слетает крышка (даже если чайник электрический и это невозможно). Я стала сценаристом и псевдоним взяла по наследству от папы — Мария Зверева. Всю свою длинную жизнь — уже почти в два

раза длиннее, чем жизнь моего отца, — я пишу для кино. По папиному рассказу «Защитник Седов» написала сценарий. И какое это было удовольствие — работать с его текстом! Как выверено, как точно в этой новелле каждое слово. Как он сумел так лаконично, просто и беспощадно рассказать о времени. Режиссер Евгений Цымбал снял по этому сценарию фильм. Картина получила приз Британской киноакадемии как лучший фильм на иностранном языке. Зал в Лондоне аплодировал — как жаль, что без папы...

Папа уже начал писать следующий рассказ про Машку Гаврикову и ее друзей, но только начал... Проживи он дольше, мы бы, наверное, узнали, какими они стали, эти герои, как выросли дальше... Много чего узнали бы... Но не вышло.

Мне только, ну буквально за пару недель до его ухода, исполнилось пятнадцать. Я всю жизнь живу с этой потерей. Я и писать-то начала, пытаюсь сделать то, что он не успел, на что судьба не дала ему времени. Но так, как у него получилось бы, не получается... Так что лучше почитайте, как выходило у него! У нас в кино перед премьерой говорят: «Хорошего вам просмотра!» Так вот: интересного вам чтения!

*Мария Зверева,
сценарист, дочь писателя*

Художник Тютюкин – сын Орлова

Первые люди, пришедшие в понедельник в шестой «Б», — Юра Фонарев, Сашка Каменский и Машка — вдруг обнаружили, что они вовсе не первые. В этот ранний час у доски уже торчал художник Тютюкин и что-то такое малевал мелом.

— Ой, — сказала Машка, взглянув на его художество. — Смотрите, ребят, как здорово!

— Ого, — сказал Юра.

А этот пижон* Сашка надул щеки, посмотрел одним глазом сквозь дырочку в кулаке, отошел на два шага, снова посмотрел и сказал:

— Просто Иохим Рембрандт ван Рейн! Винцент Ван Гог и Василий Иванович Суриков.

Художник Тютюкин самодовольно засопел и спросил небрежно:

— Кроме шуток?

— Кроме, — сказала Машка. — Абсолютно кроме. Он зверски похож!

* *Пижон* — вызывающе одетый человек, модник.

И потом каждый трудящийся, входя в шестой «Б», обязательно говорил что-нибудь вот этакое:

— Гений!

— Но Коля! Прямо как живой!

— А ухо-то, ухо! Ну, точно.

— Что там ухо? Все точно!

А хорошенькая кисочка Машенька (учтите, это не Машка, а Машенька, совсем другая, совершенно другая девочка)... Так вот, Машенька спросила:

— А артиста Рыбникова срисовать можешь?

— Почему *срисо*? — высокомерно сказал Тютюкин. — Не *срисо*, а *на-ри-со*... — И торжественно закончил: — *вать*.

Посыпались заказы. Трудящиеся хотели увидеть дружеский шарж на Адочку (в смысле на Ариадну Николаевну), карикатуру на завуча, портрет Гагарина, атомную лодку и еще там всякое разное. Тютюкин томно кланялся и ничего определенного не обещал.

— А мне голубя, — сказала Машка.

— Мира? — спросил Тютюкин, впервые проявив интерес.

— Нет, просто. Сизаря.

— А ты гоняешь?* — почтительно удивился Тютюкин, который, конечно, знал, что Машка свой парень. Но чтоб до такой степени!

* *Гонять голубей* — управлять полетом голубя с помощью шеста. Взрослые и дети разводили голубей в дворовых голубятнях в качестве хобби.

Но так он и не выяснил (и мы тоже не узнаем!), гоняет или не гоняет. Потому что в ту самую минуту появился Коля. И все завопили:

— Коля! Коля! Смотри, Коля, как тебя здорово Тютюкин нарисовал!

Коля посмотрел на курносую, ушастую, лупо-глазую рожу, намалеванную на доске.

— Почему это меня? — спросил он, внимательно оглядев честную компанию.

— А кого же?! — закричали все. — Ты только посмотри.

— Ну, Тютюкин, кого ты нарисовал? — негромко спросил Коля и взял художника за шкурку (а я забыл сказать, что этот квадратный Коля со своей круглой башкой был самый сильный человек всех шестых классов).

— Не тебя-я-я! — завопил Тютюкин.

— Как же не тебя?! — закричали любители справедливости. — Смотри, вот уши. И бровь — одна вверх, другая прямо!

— Значит, меня? — сердечно спросил Коля и поднял бровь так, что все ахнули: до чего похоже. — Меня, значит? — И сел верхом на Тютюкина.

— Не тебя-я-я!

— А кого же, если не Колю? — настаивали правдолюбцы. — Как не стыдно врать, Тютюкин?

Может, Тютюкину и стыдно было врать, но на нем же сидел Коля, и это, наверно, сильно мешало...



Вы, пожалуйста, не осуждайте весь шестой «Б», в котором, конечно, много вполне порядочных и благородных людей. Просто рисунок был слишком обидный, и, честно говоря, каждый на месте Коли мог бы обидеться. Конечно, будь на его месте, скажем, Сашка Каменский, он бы парировал выпад художника какой-нибудь блестящей эпиграммой, которая, может быть, кончалась бы как-нибудь убийственно (например: «Эх ты, Тютюкин, Тютюкин, Тютюкин, ты художник, но свинья»). А председатель совета отряда Кира Пушкина, будь она на месте Коли, она бы, пожалуй, притащила художника на совет отряда и поставила бы такой моральный вопрос*, что ему было бы в сто раз тошнее, чем если бы на него сели два Коли и даже четыре Коли. Но надо учитывать, что Коля не имел ни власти, ни остроумия. И что же ему еще оставалось, кроме как сесть на Тютюкина? Вот он сел, и сидел, и не знал, как ему быть дальше.

— Не тебя-я... А... а Ваську Трубачева. Из второй школы.

— Вот видите, — с облегчением вздохнул Коля и сразу же честно слез с Тютюкина. — Трубачева какого-то...

* В СССР большинство школьников состояло во Всесоюзной пионерской организации. *Отряд* — группа из нескольких пионеров-одноклассников. На совете отряда могли обсуждать поведение того или иного пионера.

— Дурак ты, — сказал Сева Первенцев. — Васек Трубачев — это не из какой не из школы. Это книжка такая есть.

Тогда Коля треснул художника по шее, стер рукавом его произведение и написал на доске:

СМЕРТЬ ТЮТЬКИНУ!!!

— А у тебя в самом деле уши преступника, — вызываяще сказала Машка, которая, конечно, не боялась Колю и вообще никого не боялась.

— Ты у меня еще заплачешь, — пообещал Коля Тютькину, — четырнадцать раз заплачешь!

(Я затрудняюсь вам объяснить, почему именно четырнадцать, а не шестнадцать и не девять, но вот так он сказал.)

— А меня нарисуешь — пулей из пионеров вылетишь, — сказал почему-то Сева Первенцев, член совета дружины*.

А благородный рыцарь Юра Фонарев пресек:

— Только троньте кто-нибудь Тютькина. Будете знать!

Но после уроков Тютькин на всякий случай все-таки потолкался минут десять в уборной третьего этажа (чужого, шестой «Б» на втором). Добрый Ряша (Вовка Ряшинцев) оставался с ним, развлекая художника отвлеченными разговорами.

* *Дружина* — объединение всех пионеров школы.